



свободный человек

Владимир Буковский

«И возвращается ветер...»

НОВОЕ  
издательство

Владимир Буковский  
**И возвращается ветер...**

«Новое издательство»

УДК 323.22  
ББК 66.1(2)6

**Буковский В. К.**

И возвращается ветер... / В. К. Буковский — «Новое  
издательство»,

ISBN 978-5-98379-090-2

Автобиографическая книга знаменитого диссидента Владимира Буковского «И возвращается ветер...», переведенная на десятки языков, посвящена опыту сопротивления советскому тоталитаризму. В этом авантюрном романе с лирическими отступлениями рассказывается о двенадцати годах, проведенных автором в тюрьмах и лагерях, о подпольных политических объединениях и открытых акциях протеста, о поэтических чтениях у памятника Маяковскому и демонстрациях в защиту осужденных, о слежке и конспирации, о психологии человека, живущего в тоталитарном государстве, – о том, как быть свободным человеком в несвободной стране. Владимир Буковский – кандидат в президенты России на выборах 2008 года. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 323.22  
ББК 66.1(2)6

ISBN 978-5-98379-090-2

© Буковский В. К.  
© Новое издательство

# Содержание

Предисловие	5
Конец ознакомительного фрагмента.	26

# Владимир Буковский

## И возвращается ветер...

### Предисловие

Книга не принадлежит автору, а, выйдя из его рук, живет своей судьбою, от автора не зависящей. Мы лишь запускаем ее в мир, как бумажный кораблик по весеннему ручейку, а уж к каким берегам его прибудет, где он застрянет, где проскочит – того нам не угадать.

Приключения начались уже с названия. Первоначальный вариант – «И возвращается ветер...» – подсказал мой старый солагерник, а тогда обитатель Земли Пророков, Иосиф Мешенер. Однако, кроме Франции и Италии, этот вариант нигде не прижился. Особенно упорно спорили английские и американские издатели: в их странах, видите ли, никто Книги Екклесиаста не знает. Так появилось новое название – «To Build a Castle» («Построить замок»), – подсказанное Татьяной Максимовной Литвиновой.

Немцам же не понравились оба варианта, и они придумали свое, этакое длиннущее немецкое словечко, в переводе означающее «Тот-самый-ветер-который-дует-с-гор-когда-на-реках-ломается-лед». Голландцы и того хуже, ни слова мне не сказав, попытались объединить оба символа, и получился у них не то замок под ветром, не то ветер под замком. Ну, а что там насочиняли японцы, я, видимо, никогда не узнаю.

Так и поплыл мой кораблик, меняя на ходу флаги. В одних странах его встречали бурно, в других он прошел незаметно, и я наконец потерял его из виду, как вдруг он объявился в Польше, в самый разгар военного положения или, как тогда говорили, «Польско-Ярузельской войны». Издатели, подпольная еще в то время «Солидарность», прислали мне в подарок несколько копий, поразивших меня завидным качеством их подпольной печати. И даже теперь, четверть века спустя, когда я попадаю в Польшу, неизменно подходят пожилые уже теперь люди, просят надписать эти пожелтевшие, истертые книжки.

Проникнув же за «железный занавес», закрутился кораблик по бурным водам Восточной Европы. То там мелькнет, то тут проскочит, уследить невозможно. Добрался и до России, успев как раз ко времени крушения советского режима. Помню, тогда меня немало беспокоило то, что в книге я назвал много имен и стукачей, и наседок, и следователей, да и просто людей сломавшихся. Подумал даже, не попросить ли редакцию заменить эти имена буквами. Наверняка, думал я, найдутся ведь теперь такие «мстители», что и разыщут, и обличат, и до детей их докопаются. Меньше всего мне хотелось, чтобы моя книга только добавила ненависти в стране, где уже и так накопились ее многие мегатонны. Не затем я писал ее, чтобы кого-то обличать и требовать к ответу.

Это ведь не обвинение, а свидетельство, причем свидетельство того, что в конечном счете все зависит от нас самих, ибо человек всегда свободен, всегда у него есть выбор и, стало быть, всегда он несет ответственность за происходящее. А уж коли сотворилось в нашей стране такое чудовищное зло, на каждом из нас есть крупица вины. Больше ли, меньше ли – кто это взвесит?

В этом и была, если хотите, философская суть нашего движения, наша программа. И что бы ни говорили в свое время многие мои друзья, коим не терпелось объявить наступившие в стране перемены *нашей* победой, программа эта осталась невыполненной. Общество не пошло за нами, не осознало ни своей свободы, ни своей ответственности, а, получив гласность сверху, в качестве подарка, так и не знало, на что бы такое употребить ее. Промучившись так с десяток лет, сами же и выбрали себе в правители привычных старых палачей, сразу избавившись ото всех трудных вопросов.

Но каким же ветром несет теперь мой кораблик опять в Россию? К добру ли, к худу ли? Кому и зачем в этой, казалось бы, уже обреченной стране нужно теперь мое свидетельство о свободе? Конечно, коль скоро в стране возрождается тирания, люди вновь задаются вопросом, что ей можно противопоставить. Вот только готово ли общество – в большинстве своем отвергшее наши решения и тридцать, и двадцать, и десять лет назад – принять их сейчас? Неужели теперь, на пороге гибели страны, произойдет чудо и возникнет из хаоса новое племя бунтарей, которые сделают то, на что их трусливым отцам духу не хватило, – покончат с остатками тоталитарного режима, превратившегося в мафию, отстранят поколения, испорченные десятилетиями рабства, и начнут строить новое общество? Увы, трудно в это поверить.

Впрочем, разве мы когда-нибудь рассчитывали на победу? Да нет, мы просто выполняли свой долг. Несчастлива страна, где простая честность воспринимается в лучшем случае как героизм, в худшем – как психическое расстройство. В такой стране земля не родит хлеба. Горе тому народу, в котором иссякло чувство достоинства. Дети его рождаются уродами. И если не найдется в той стране, у того народа хотя бы горстки людей, да хоть бы и одного, чтобы взять на себя их общий грех, никогда уже не вернется ветер на круги своя.

По крайней мере, я так понимал свой долг и потому ни о чем не жалею.

*Кембридж, декабрь 1989 – август 2007*

*Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире.*

*Начинался обычный тюремный день, очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В шесть часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдаль камер, колотя ключами в дверь: «Падъ-ем! Падъ-ем! Падъ-ем!» В серых сумерках камер зашевелились эски, нехотя вылезая из своих мешков, вытупываясь из наверхенных одеял, бушлатов, курток. Провались ты со своим подъемом!*

*Заорал репродуктор. Раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера. «Говорит Москва! Доброе утро, товарищи! Утреннюю гимнастику начинаем с ходьбы на месте». Черт, поскорее выключить! Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте.*

*Зимнее смурное утро и на воле-то приходит, точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется, и этот день впереди – как проклятье. Недаром поется в старой арестантской песне:*

*Проснешься утром, город еще спит.  
Не спит тюрьма – она давно проснулась,  
А сердце бедное так болит,  
Как будто к сердцу пламя прикоснулось.*

*По заснеженному двору от кухни прогрохотал «тюрьмаход» – тележка с бачками, повезли на разные корпуса завтрак. Слышно, как их разгружают внизу и волокут по этажам, грохоча об пол. Хлопают кормушки, гремят миски, кружки. Овсяная каша, хоть и жидкая, но горячая. Кипяток же и подавно хороший мальый, старый приятель. Где-то уже сцепились, матерятся – недодали им каши, что ли? Стучат об дверь мисками. Поздно, зазевались – завтрак с лязгом и грохотом, словно битва, прокатился дальше по коридору в другой конец. Кто теперь проверит, кто докажет, дали вам каши или нет? Совать надо было миску, пока кормушка открыта.*

Обычно по утрам, после завтрака, повторял я английские слова, выписанные накануне. Два раза в день повторял – утром и перед отбоем. Это вместо гимнастики, вместо ходьбы на месте, чтобы расшевелить сонные мозги. Потом, уже днем, брался за что посложнее. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка: «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого-то нам и не хватало, начался проклятый денечек. Собирайся, да тащись, да устраивайся на новом месте – пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут, вечная таинственность.

– Эй, начальник, начальник! Матрасовки брать? А матрацы? А посуду? – Это уже наша разведка. Если матрацы брать – значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать – значит, на другой, а куда? Если матрасовки брать – значит, на первый или на третий: на втором свои дают и посуду тоже.

– Все забирайте с собой, – говорит неопределенно начальник, туману напускает. Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять, на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем, поволокут на строгий режим, на пониженную норму. А может, просто шмон? Это вот не дай Бог, это хуже всего. Книжки у меня распаханы по всей камере на случай шмона, всякие запрещенные вещицы – ножичек, несколько лезвий, шильце самодельное. Все сейчас заметут.

И заметались все! У каждого же своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть – может, не найдут. В сапог тоже можно – да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген, а сапоги – пожалуйста. Батюшки, сапоги! Я же их в ремонт сдал.

– Начальник! Звони насчет сапогов – в ремонте у меня сапоги. Без сапогов не пойду, начальник!

Я этого ремонта два месяца добивался, жалобы писал, требовал, бился, только взяли – и на тебе! Вернуть бы живыми, не до ремонта теперь, все к черту полетело. Хорошо, хоть позавтракать успели – к обеду, может, будем уже на новом месте. Куда ж это, однако, нас гонят?

Барахла у меня скопилось жуть, полная матрасовка. Казалось бы, какие вещи могут быть у человека в тюрьме? А и не заметишь, как оброс багажом. Освобождались понемногу ребята, уезжали назад в лагеря и бесценные свои богатства норовили оставить здесь, в наследство остающимся. Грешно увозить из тюрьмы то, что с таким трудом удалось протащить через шмоны. Каждая лишняя вещь – ценность. Вот три иностранных лезвия – за каждое из них можно договориться с баландером, и он будет неделю подогревать наших в карцере – три недели жизни для кого-то, может, и для меня. Тетради обичие – тоже ценность, поди их достань. Три шариковые ручки, стержни для ручек, главное же – книги, не дай Бог шмон! Все это богатство скопилось у меня в опасном количестве, и никак я не мог исхитриться передать его кому-нибудь, кто остается дольше меня в тюрьме. Не попадал я с ними в одну камеру – не везло.

Но, в общем-то, похоже было, что просто переводят нас всех в другую камеру, а потому забрали мы и мыло, и тряпки свои, и веревочки всякие – на новом месте все очень пригодится, особенно если в камере раньше сидели уголовники. После них, как после погрома: камера грязная, все побито и поломано, дня два чинить и чистить, мить да скрести – и ни тряпок, ни мыла у них обычно не водится, поэтому даже половую тряпку забрали мы с собой.

Гьфу, ну, кажется, собрались. «Готовы?» – кричит начальник из-за двери. «Готовы!»

Дверь открылась, и корпусной вдруг, указав на меня пальцем, сказал коротко: «Пошли со мной». Мать честная, куда же это? Не иначе как в карцер. И, цепляясь в уме за всякие возможности и варианты, спросил я только: «Матрац брать?» – «Бросьте в коридоре». Так и есть, карцер. За что ж это? Ничего же не делал. Голодовку объявлю!

Спускаемся вниз, на первый этаж, поворачиваем не к выходной двери, а в коридор – так и есть, карцер! Нет, прошли мимо, идем по коридору. Значит, иммон, к иммоналке идем. Ну, холера, сейчас все отберут. Как бы им голову заморочить? Говорю первое попавшееся: «Начальник, сапоги давай, сапоги в ремонте!» – «Послали уже». Послали? Зачем же послали за сапогами, если только иммон? Может, этап?

Заходим в комнату для шлюпов. Там уже иммонная бригада Петухова – ждут, как шакалы, сейчас все отметут. «Так, – говорят, – мешок положите здесь, а сами разделайтесь». Раздели, как водится; оцупали каждую вещь по швам, в телогрейке одно лезвие было спрятано – не заметили, слава Богу, неделя жизни кому-то. «Одевайтесь». Выводят в коридор, запирают в этапку. Черт, значит, этап! Как же я потащусь со своим барахлом по этапу? Я и сам-то еле двигаюсь. И пропадет теперь все – на каждой пересылке иммон. Как обухом по голове. Куда бы это? Эх я дурак, тряпку половую взял и мыло. Сапоги! Заиграют сапоги, потом ищи. «Начальник, сапоги давай, сапоги в ремонте!» – «Послали уже».

Надо хоть ребятам дать знать, но как? Этапка самая крайняя, надо мной никого, уни-таза нет, кружки у меня нет, тьфу! Написал карандашиком на стене по-английски: «Этапирован неизвестно куда», фамилию и число. Но этого мало – когда еще заметят? Надо бы крикнуть как-то. Может, в баню поведут перед этапом? Но вот уже открывается дверь – так скоро? А баня? Нет, идем к выходу. Поворачиваем за угол, идем к вахте. Ну, только здесь и крикнуть. Пятнадцатая камера как раз надо мной. Изо всех сил заорал я вдруг, аж Киселев отпрыгнул от меня со страху.

– Пятнаадцатая, Егооор, меня на этап увозят! На этап забрали! Пятнаадцатая!

Тут они опомнились и втолкнули меня в двери вахты: – Тише, что орешь? В карцер захотел? – Какой карцер... Ври, начальник, не завирайся, где ты меня на этапе в карцер посадишь?

В большой комнате на вахте – не то в красном уголке, не то в раздевалке для надзирателей – посадили на стул. «Сидите!» Тут появился наш воспитатель, капитан Дойников, какой-то сам не свой, торжественно-грустный. Я к нему: «Гражданин начальник, куда?» – тихо так, чтоб никто не слышал. Мнется, глаза отводит: «Не знаю, нет, право, не знаю. На этап». – «Да бросьте вы все темнить, тайны разводить – куда?» – «Честно, не знаю, не мое дело. Сказали, на этап – в Москву, наверно». Знает все, бес, по лицу видно. «А вещи мои?» – «Уже в машине». Неслыханно! Кто же это за меня вещи таскает, неужто конвой? Да, сапоги. «Скажите, чтобы сапоги принесли, сапоги у меня в ремонте». – «Принесут». – «Да как принесут? Уже на вахте, сейчас ехать!»

А он так тихо вдруг говорит: «Не нужны вам большие сапоги». Что бы это значило? Как так может быть, чтоб сапоги не нужны были? И я ему тихо: «Откуда же вы знаете, что сапоги не нужны, если не знаете, куда еду?» Смутился.

Не надо было этого говорить, и так понятно, что творится нечто необычное: этапы никогда с вахты не отправляют, а прямо внутрь воронок заходит, там и грузят. И вещи сами снесли, и сапоги не нужны, на волю, что ли, освободить, что ли, будут? А может – наоборот? Тогда тоже сапоги не нужны.

– Ну что ж, прощайте, не поминайте лихом, – говорит капитан. Ведут прямо к выходу на волю, открывают дверь. Оглядеться не дают – вокруг люди в штатском. А, КГБ! Понятно – не на волю, значит. «Сюда, пожалуйста, в машину». Прямо у ворот стоят микроавтобус и какие-то легковые машины. Снег утоптаный, темный. Где же воронок? Нет, сажает в микроавтобус – чудеса! Внутри, на заднем сиденье, лежит мой мешок в тюремной матрасовке. Окна плотно зашторены, вокруг кагебеишники в штатском. Предупреждают: в дороге шторы не трогать, в окно не выглядывать. Спереди, между нами и шофером, тоже шторы плотно задернуты, но снизу не прикреплены, болтаются – значит, на ходу будут трепыхаться, что-нибудь да увижу. Ждут еще какого-то начальника, он садится спереди,

*с шофером, хлопает дверца, колышутся шторки – тронулись. Развернулись, повернули еще раз, пошли.*

*Эх, черт, слышали ребята или нет? Должны были слышать – орал я громко. Куда же, однако, меня везут? В Москву? Дойников сказал – в Москву. Но мог и соврать. А куда же меня везти? Почему в микроавтобусе, а не в воронке? Почему не нужны сапоги? А что, очень даже могут. Завезут сейчас в лесок за городом и – при попытке к бегству...*

*Машина же наша неслась тем временем с сумасшедшей скоростью. Шторки спереди вздрагивали, развевались, и, к удивлению своему, я вдруг заметил впереди нас милиционерскую легковую машину с мигающим фонарем на крыше. В ней два офицера милиции. Один, высунув из окна руку с палочкой, разгонял с нашего пути машины. Что за дьявол – может, случайное совпадение? Нет, минут через пять вновь сильно всколыхнулись занавески спереди и вновь та же машина с тем же фонарем. Покосившись украдкой назад, увидел я равномерное мелькание света на задних шторках – значит, и сзади шла милицерская машина. А мы неслись и неслись вперед на предельной скорости, даже боязно становилось – не перевернуться бы, зима все-таки, скользко. И вновь на повороте взметнулись шторки, и все та же милицерская машина впереди. Сзади же свет мелькает непрерывно. Да, вот это чудеса! Так только члены правительства ездят. Никогда еще меня так не этапировали. Куда же это они меня?*

*Чекисты же мои переговаривались между собой, на меня взглядывали редко, только двое, что сидели с боков от меня, были настороже. И как ни взглядывался я в их лица да в дороги впереди сквозь щель в занавесках – ничего не мог почерпнуть нового. Ну что ж, в лесок так в лесок, в Москву так в Москву – что я мог поделывать, что предпринять? Ну стало быть, и думать об этом нечего – что будет, то будет.*

Оставалось мне сидеть совсем немного – всего каких-нибудь пять месяцев здесь, в тюрьме, а потом – в Пермскую область, в свой родной 35-й лагерь, примерно на десять месяцев. Это – как праздник, все равно что домой. Уже прикидывал я, кого застану из ребят, а кто освободится к тому времени. Глухо доходили новости от вновь прибывающих – что-то там в зоне делается, какие новые порядки, какое теперь начальство. Потом же, в марте 78-го, предстояло мне еще в ссылку. Эти вот несчастные пять лет ссылки раздражали меня больше всего срока, как ненужный довесок – ни то ни се, ни свобода, ни тюрьма. Да еще смотря куда пошлют, какая там будет работа, какое начальство. А то и хуже лагеря. Известно было, что из пермских лагерей отправляют на ссылку в Томскую область, а там известно что: повал, болота, глухомань, закон – тайга, медведь – хозяин. Из Владимира же шли на ссылку в Коми, и хоть Коми тоже не мед, тоже повал и болота, но как-то ближе к Москве – все-таки Европа.

Поэтому прикидывал я, нельзя ли еще раз исхитриться вернуться из лагеря во Владимир. Надежды было мало, ходили слухи, что по новой инструкции тех, кому осталось меньше года, в тюрьму не посылают. Предписано воспитывать на месте своими средствами. Оставшиеся же пять тюремных месяцев расписаны были у меня вперед: какую книжку и когда я должен успеть прочесть. В лагере уже не считаешь – успевай поворачивайся. Да и в ссылке не до того будет. Когда же еще и заниматься, как не в тюрьме – и времени не жалко, все равно уходит даром.

Как ни кинь, выходило, что других университетов, кроме Владимирской тюрьмы, у меня уже не будет. Если даже не намотают мне нового срока, то выйду я из ссылки в 83-м году, и будет мне сорок один год – совсем не возраст для обучения. Да и на воле ничего хорошего меня не ждало. Это только новичок, который первый раз сидит, – тот воли ждет да дни считает. И кажется ему эта воля чем-то светлым, солнечным и недостижимым. Я-то сидел уже четвертый раз и знал, что нет большего разочарования в жизни, чем освобождение из тюрьмы. Знал я также, что больше года мне на этой проклятой воле никогда не удавалось продержаться и никогда не удастся. Потому что причины, которые загнали меня в тюрьму в первый раз, заго-

нят и во второй, и в третий. Они, эти причины, неизменны, как неизменна и сама советская жизнь, как не меняешься и ты сам. Никогда не позволят тебе быть самим собой, а ты никогда не согласишься лгать и лицемерить. Третьего же пути не было.

Потому-то, освобождаясь каждый раз, я думал только об одном – как бы успеть побольше сделать, чтобы потом, уже снова в тюрьме, не мучиться по ночам, перебирая в памяти все упущенные возможности, чтобы не казнить, не терзаться, не стонать от злости на свою нерешительность. Эти вот бессонные терзания были в моей жизни самым мучительным, и оттого короткие промежутки моей свободы никак нельзя было назвать нормальной жизнью. Это была лихорадочная гонка, вечное ожидание ареста, вечные агенты КГБ, дышащие в затылок, и люди, люди, людей, которых не успеваешь даже разглядеть как следует. Если ты встретился с человеком один раз и он тебя не продал, ты уже считаешь его хорошим знакомым, если два – близким другом, три – закадычным приятелем, как будто ты с ним полжизни прожил бок о бок.

А встретив человека в первый раз, неизбежно смотришь на него как на будущего свидетеля по твоему будущему делу. Неизбежно прикидываешь: на каком допросе он расколется – на первом или на втором? На каких его слабостях попытается играть КГБ? Робкий – значит, запугают, самолюбивый – постараются унижить, любит детей – пригрозят забрать детей в интернат. И смотришь ему в глаза вопросительно: выдержит или не выдержит, когда припугнут сумасшедшим домом? Редко кто выдерживает. А потому не отягощай память ближнего излишней информацией, не ставь его перед необходимостью мучиться потом угрызениями совести. Ты прокаженный, ты не имеешь права на человеческую жизнь, каждый, кто коснулся тебя, рискует заразиться, и если ты действительно любишь кого-то – избегай его, сторонись, делай вид, что не узнал, не заметил. Иначе завтра ему на голову обрушится вся мощь государства.

И потому-то, втискивая 25 часов в сутки, растягивая неделю в месяц, ты должен сделать максимум возможного и даже невозможного, потому что завтра ты опять будешь в лефортовской камере и долго потом ничего не сможешь сделать – может быть, никогда. Опять будешь по ночам перебирать в памяти все, что упустил, что мог сделать лучше и сильнее, будешь казнить себя за нерасторопность. Ведь столько десятилетий люди ничего не могли сделать – даже плюнуть в морду тем, кто их убивал. И миллионы их сгинули, мечтая хоть чем-нибудь отплатить за свои мучения. А у тебя была возможность кричать на весь мир, были друзья, на которых можно положиться, было время – что ты успел сделать? И миллионы мертвых глаз будут обжигать тебе душу укоризненными вопрошающими взглядами.

В Сибири мне рассказывали об одном способе охоты на медведя. Где-нибудь вблизи медвежьей тропы на сосне прячут приманку – обычно мясо с тухлинкой. А на ближайший толстый сук этой сосны привязывают здоровенную тяжелую колоду так, чтобы она заслоняла путь к приманке и притом свободно раскачивалась на канате. Медведь, чуя приманку, лезет на ствол и встречает на пути колоду. По своей медвежьей натуре он даже не пытается эту колоду обойти, а отодвигает ее в сторонку и лезет дальше. Колода, качнувшись в сторону, бьет медведя в бок. Мишка ярится, толкает колоду сильнее, та, естественно, бьет его еще сильнее, медведь – еще сильнее, колода – еще сильнее. Наконец, колода бьет его с такой силой, что оглушает и сшибает с дерева. Примерно такие же отношения сложились у меня с властями: чем больший срок мне давали – тем больше я старался сделать после освобождения, чем больше я делал – тем больший срок получал. Однако и время менялось, и возможности мои увеличивались, и трудно было сказать, кто из нас медведь, кто колода и что из этого всего выйдет. Я, во всяком случае, отступать не собирался.

Выходило, таким образом, что не только эти пять месяцев расписаны у меня вперед, но и вся жизнь: десять месяцев в лагере, пять лет в ссылке, потом – в лучшем случае – год лихорадки, называемой свободой, затем еще десять лет тюрьмы и еще пять ссылки. Это уже, кажется, мне будет 57 лет? Ну, еще на один круг мне могло хватить времени, а умирать вышло опять на тюрьму. Оттого-то и не ждал я ее, эту свободу, не считал дней и месяцев. Я сам

себе напоминал того джинна из сказок «Тысячи и одной ночи», которого посадили в бутылку, – и первые пять миллионов лет он клялся озолотить того, кто его освободит. А вторые пять миллионов лет – уничтожить того, кто его выпустит. Во всяком случае, чувства этого джинна были мне понятны.

Была, однако, и другая причина, заставлявшая меня расписывать тюремное время вперед и каждую минуту использовать для занятий: сама тюрьма.

Человек, не дисциплинирующий себя, не концентрирующий внимания на каком-либо постоянном занятии, рискует потерять рассудок или уж, во всяком случае, утратить над собой контроль. При полнейшей изоляции, отсутствии дневного света, при монотонности жизни, постоянном голоде и холоде впадает человек в какое-то странное состояние, полудрему-полумечтательность. Часами, а то и целые дни напролет может он глядеть невидящими глазами на фотокарточку жены и детей, или листать страницы книги, ничего не понимая и не запоминая, или вдруг заводит с соседом бесконечный, бессмысленный спор на совершенно вздорную тему, как бы застревая на одних и тех же доводах, не слушая собеседника и фактически не опровергая его аргументов. Человек абсолютно не может сосредоточиться на чем-то определенном, уследить за нитью рассказа.

Странное что-то происходит и со временем. С одной стороны, время несется стремительно, поражая этим твое воображение. Весь нехитрый распорядок дня с обычными, монотонно повторяющимися событиями: подъем, завтрак, прогулка, обед, ужин, отбой, подъем, завтрак, прогулка, обед, ужин, отбой – сливается в какое-то желто-бурое пятно, не оставляющее никаких воспоминаний, ничего, за что могло бы зацепиться сознание. И вечером, ложась спать, человек, хоть убей, не помнит, что же он весь день делал, что было на завтрак или на обед. Более того, сами дни неразличимы, полностью стираются из памяти, и замечаешь вдруг, будто кто тебя толкнул: батюшки, опять баня! – это значит семь, а то и десять дней пролетело. Так и живешь с ощущением, будто каждый день у тебя баня. С другой стороны, это же самое время ползет удивительно медленно: казалось, уже год прошел – ан нет, все еще тот же месяц тянется, и конца ему не видно.

Опять же становится человек страшно раздражительным, если что-то нарушает его монотонную жизнь. Вдруг, например, с нового месяца водят гулять не после завтрака, а после обеда. Какая, казалось бы, разница, однако это доводит до бешенства, почти до исступления. Или поругался с надзирателем, или вызвал на беседу воспитатель, а ты с ним завелся – и вот уже не можешь ни читать, ни спать, ни думать о чем-нибудь другом. Строчки в глазах прыгают, мысли скачут, а тебя аж трясет всего. Ну что, казалось бы, необыкновенного? Этих споров, этих бесед, этой ругани с надзирателями было в твоей жизни столько, что и сосчитать невозможно. Однако несколько дней и ночей ты будешь перебирать в уме, что сказал он, что ты ответил, что мог ты сказать, да не сказал, не сообразил сразу. И как бы ты мог его особенным образом поддеть или обрезать, ответить более ехидно или более убедительно. Словно испорченная пластинка, этот разговор все крутится и крутится в мозгу, и нет сил его остановить. Или вот получишь из дому открытку какую-нибудь цветистую и смотришь, смотришь на нее, как идиот, и так дико видеть разные непривычные цвета, что оторваться не можешь.

Нельзя сказать, чтобы голод был очень мучителен – это ведь не острый голод, а медленное хроническое недоедание. Поэтому очень скоро перестаешь ощущать его резко, остается нечто монотонно сосущее наподобие тихой тянущей зубной боли. Даже перестаешь понимать, что это голод, а так, через несколько месяцев, замечаешь вдруг, что стало больно и неловко сидеть на лавке и ночью, как ни ляг, все что-то жмет или давит – уж и матрац несколько раз перетрясешь, и ворочаешься с боку на бок, а все неловко. Только так и ощущаешь, что кости вылезли. Но это тебе как-то даже безразлично. Да еще с койки вставать не надо резко – голова кружится.

Самое же неприятное – это ощущение потери личности, точно проволокли тебя мордой по асфальту и совсем не осталось никаких характерных черт и особенностей. Словно твою душу со всеми ее изгибами, извилами и потайными углами да узорами прогладили гигантским утюгом, и стала она плоская и ровная, как картонная манишка. Затирает тюрьма. От этого каждый человек норовит как-то выделиться, проявить свою индивидуальность, оказаться выше других или лучше. У блатных в камерах постоянные драки, постоянная борьба за лидерство, убийства даже бывают. У нас, конечно, этого нет, но через четыре-пять месяцев сидения в одной и той же камере с одними и теми же людьми становятся они тебе до омерзения понятны, так же, видимо, как и ты им. В любой момент знаешь, что они сейчас сделают, о чем думают, о чем спросить собираются. А чаще всего в камере и не говорят ни о чем, потому что все друг о друге знают. И удивляешься: как же малосодержательны мы, люди, если через полгода уже и спросить друг у друга нечего.

Особенно же тяжело, если есть у твоего сокамерника какая-нибудь бессознательная привычка – например, носом шмыгать или ногой постукивать. Уже через пару месяцев совершенно невмоготу становится, убить его готов. Но вот развели вас в разные камеры или попал ты в карцер, и через некоторое время встречаетесь вы как родные: сразу куча вопросов, рассказов, новостей, воспоминаний – праздник на неделю. Бывает, конечно, и полная психологическая несовместимость, когда люди и двух дней в камере не могут прожить, а жить им предстоит так годами. Вообще же все человечество делится на две части: на людей, с которыми ты мог бы сидеть в одной камере, и на людей, с которыми не смог бы. Но ведь никто твоего согласия не спрашивает. Поэтому необходимо быть предельно терпимым к своим сокамерникам и в то же время подавлять свои привычки и особенности: ко всем нужно приспособиться, со всеми поладить, иначе жизнь станет невыносимой.

Помножьте теперь все эти тяготы на годы и годы, возведите их в квадрат, добавьте сюда все те годы, которые вы просидели до этого, в других лагерях и следственных тюрьмах, и тогда вы поймете, почему нужно занять каждую свою минуту постоянным делом – лучше всего изучением какого-нибудь сложного, запутанного предмета, требующего громадного напряжения внимания. От постоянного электрического света веки начинают чесаться и воспаляются. Десятки раз читаешь одну и ту же фразу, но никак не можешь ее понять. С огромными усилиями одолеваешь страницу, но только ты ее перевернул – уже ни звука не помнишь. Возвращайся назад, читай двадцать, тридцать раз одно и то же, не позволяй себе курить, пока не осилишь главу, не позволяй себе ни о чем думать, мечтать или отвлекаться, не позволяй себе даже сходить в туалет – для тебя нет ничего важнее на свете, чем выполнить то, что наметил на сегодняшний день. А если завтра ты ничего не помнишь – бери и читай заново. И если ты кончил книгу, можешь позволить себе один выходной день, только один, потому что уже на второй память начинает слабеть, внимание рассредоточивается и ты опять медленно погружаешься, уходишь под воду, точно утопающий, – глубже, глубже, пока не начнет звенеть в ушах, а цветные круги не поплывут перед глазами. И еще неизвестно, вынырнешь ли ты.

Особенно заметно это в карцере, в одиночке: ни книг, ни газет, ни бумаги, ни карандаша. На прогулку не водят, в баню не водят, кормят через день, окна практически нет, лампочка где-то в нише, в стене, у самого потолка, еле-еле потолок освещает. Один выступ в стене – твой стол, другой – стул, больше десяти минут на нем не просидишь. Вместо кровати на ночь выдается голый деревянный щит. Теплой одежды не полагается. В углу параша, а то и просто дырка в полу, из которой целый день прет вонь. Словом, цементный мешок. Да еще курить запрещено. Грязь вековая. По стенам кровавая харкотина, потому что туберкулезников сюда тоже сажают. Вот тут и начинается твой спуск под воду, на самое дно, в самую тину. Так в тюрьме это и называют: спустить в карцер, поднять из карцера.

Первые дня три еще шарить по камере, ищешь – может, кто до тебя ухитрился пронести махорки и спрятал остатки, может, окурки где занычал. Все ямки и трещинки облазаешь.

Еще существуют для тебя ночь и день. Днем все больше ходишь взад-вперед, а ночью стараешься заснуть. Но холод, голод и однообразие берут свое. Дремать можно лишь минут десять-пятнадцать, затем вскакиваешь и минут сорок бегаешь, чтобы согреться. Потом опять дремлешь минут пятнадцать – или приwallась на щит (ночью), или подвернув под себя ногу, прямо на полу, спиной упершись в стену (днем), затем опять вскакиваешь и полчаса бегаешь.

Постепенно чувство реальности совершенно утрачивается. Тело деревенеет, движения становятся механическими, и чем дальше, тем больше превращаешься в какой-то неодушевленный предмет. Трижды в день дают кипяток, и этот кипяток доставляет несказанное наслаждение, точно отгаивает все у тебя внутри и временно возвращается жизнь. Все в тебе наполняется сладкой болью – минут на двадцать. Дважды в день перед оправкой дают клочок старой газеты, и уж этот клочок ты прочитываешь от первой до последней буквы, причем несколько раз. Перебираешь в памяти все книжки, какие читал, всех знакомых, все песни, какие слушал. Начинаешь складывать или множить в уме цифры. Обрывки каких-то мелодий, разговоров. Время абсолютно не движется. Ты впадаешь в забытие, то вскакиваешь и бегаешь, то опять дремлешь, но это не разнообразит жизнь. Постепенно пятна грязи на стене начинают сливаться в какие-то лица, точно вся камера украшена портретами сидевших здесь до тебя зэков. Галерея портретов твоих предков.

Можно часами их разглядывать, расспрашивать, спорить, ссориться и мириться. Через некоторое время и они уже не вносят разнообразия. Ты знаешь о них все, точно просидел с ними в одной камере полжизни. Некоторые раздражают тебя, с некоторыми еще можно перекинуться словом. Есть такие, которых нужно сразу обрезать, иначе они становятся слишком навязчивыми. Они будут нудно и монотонно рассказывать никчемные подробности своей никчемной жизни. Они будут врать и приукрашивать свою жизнь, если заметят, что ты их не слушаешь. Они услужливы и суетливы до омерзения. Другие молчат и угрюмо поглядывают исподлобья – с ними держи ухо востро: только заснешь, они могут и пайку стянуть. Есть и дружелюбные, общительные ребята, обычно помоложе, с которыми и пошутить можно. Они покладисты, никогда не унывают и за компанию готовы удавиться. Такие обычно сидят за хулиганство, групповое изнасилование или групповой грабеж. В углу, над парашей, живет старый вор-законник. Он сразу же начинает интриговать, настраивать разные группки друг против друга и всех их против тебя. Шушукается с ними по углам, обменивается какими-то многозначительными взглядами. Важно и авторитетно, ни к кому конкретно не обращаясь, он травит бывальщину: рассказывает о пересылках, о лагерях, об убийствах. Он явно провоцирует конфликт в камере, хочет установить свой порядок. Он знает, кому что положено, а кому не положено. С ним не избежать серьезной стычки, и лучше это делать сразу, пока он не сколотил своей группировки, пока его авторитет не утвердился. Но и это все тонет, стирается и оставляет тебя один на один с вечностью, с небытием.

Трудно понять, где кончаешься ты и начинается эта бесконечность. Тело твое – уже не ты, мысли твои тебе не принадлежат, они приходят и уходят сами собой, не повинуюсь твоим желаниям. Да и есть ли у тебя желания? Я абсолютно уверен, что смерть – это не космическая пустота, не блаженное ничто. Нет, это было бы слишком успокоительно, слишком просто. Смерть – это мучительное повторение, нестерпимое одно и то же. А потому возникает навязчивый, однообразный не то сон наяву, не то размышления во сне.

В первой серии события происходят среди сложных, гудящих станков, монотонно двигающих рычагами. Огромные ножи с лязгом и свистом опускаются со всех сторон. Крутятся шестеренки, зубчатые колеса, с грохотом брякаются гигантские стальные кулаки. Каждую секунду тебя может рассечь пополам, сплющить в лепешку или затянуть в огромные шестерни. Ты в постоянном движении: то отскакивая в сторону, то отшатываясь назад, то пригибаясь, ты стараешься выбраться из этих механических, металлических, рычащих джунглей. У этих машин, ножей и рычагов нет никакого ритма, никакой закономерности. Сплошной хаос. И ты

должен угадать чутьем, в какую сторону тебе прыгнуть, чтобы не быть раздавленным. И ни на секунду нельзя остановиться, ибо там, где ты только что стоял, уже пронесся многотонный стальной молот и от его удара все вздрогнуло. А сзади, сверху, сбоку уже свистит, шипит и грохочет. Так проходят тысячи лет. Но это только первая серия.

Во второй серии совершается какая-то постыдная церемония. В огромном здании по бесконечным залам и переходам движется нескончаемый поток людей. Страшная давка. Все хотят пробиться вперед, туда, где происходит главное таинство. Неестественный свет озаряет этот поток толкающихся людей. Но все происходящее исполнено какого-то омерзительного значения: что-то позорное, нестерпимо постыдное – толпа голых людей всех возрастов с уродливыми телами. И ты среди них. Все это происходит под однообразную повторяющуюся мелодию – не то хорал, не то заклинания, которым подчиняются все ваши движения. Так еще тысячи лет.

В третьей серии – не то комната, не то шахматная доска. Не то люди, не то шахматные фигуры, потому что все вы связаны очень сложными психологическими отношениями. От каждого твоего слова или малейшего движения зависит, что сделают они, а это, в свою очередь, влияет на тебя, на всех и на каждого. Поэтому каждый из присутствующих должен постоянно производить в уме невероятно сложные расчеты, учитывая всевозможные решения остальных. И этим расчетам нет конца, как нет конца числу возможных комбинаций. Вы все сосредоточены и напряжены, вы считаете, предполагаете, допускаете, опровергаете, пересчитываете, комбинируете. Так до бесконечности, потому что вы сцеплены намертво тканями взаимоотношений. При этом каждый старается выглядеть совершенно беззаботным.

Тут ты вскакиваешь на ноги и начинаешь бегать из угла в угол, взад-вперед, туда-сюда, потому что все тело затекло и онемело. Так бегаешь и бегаешь, пока однообразие стен и твоих собственных движений не возвратит тебя опять в первую серию, в машинное отделение с его ножами, молотами, колесами и рычагами. Так проходят целые эпохи, и все становится омерзительно: все, что внутри тебя, и все, что снаружи, – все это известно заранее, измусолено твоими взглядами и размышлениями. Сам себе человек становится противен до тошноты – только уйти от самого себя некуда. Эта вот мучительная пустота долго потом не заживает в сознании, как открытая рана, и только много спустя становится она шрамом в душе. Ничего не остается в памяти от этого времени – провал.

Один раз мне сказочно повезло – я нашел примерно полпачки махорки, аккуратно спрятанной в щель в стене. Полпачки отсыревшей махорки... Но лучше б я ее не находил, эту чертову махорку! Потому что, с одной стороны, негде было взять спичек, с другой же – нестерпимо захотелось курить. Сотни раз я обшаривал всю камеру, но спичек не нашел. Оставался только один способ прикурить – залезть на стену, под самый потолок, и клочок своей одежды при помощи какой-нибудь палочки просунуть сквозь решетку в нишу, а там аккуратно положить на лампочку. Минуты через три тряпка должна начать тлеть, и тогда от нее можно будет прикурить. Но как залезть на трехметровую высоту без единой точки опоры, да еще оголодавшему, ослабевшему человеку? Судя по некоторым пятнам и царапинам, было ясно, что мои предшественники как-то ухитрились. И от этого желание закурить становилось нестерпимым. Половина следующей ночи ушла у меня на то, чтобы ногтями отщипнуть как-нибудь щепку от своего щита, причем щепку подлиннее, чтобы хватило ее от решетки ниши до лампочки. Затем с утра следующего дня начался штурм стены. Совершенно идиотское занятие – насккивать на абсолютно голую стенку, с разбега ли, с места ли, цепляясь за нее ногтями, и буквально рычать от бессилия и беспомощности. Быть может, мои предшественники были выше ростом, сильнее или лучше подготовлены. Быть может, они были альпинистами. Но уже ничто не могло меня остановить, я ни о чем другом не мог думать, я совершенно озверел и дошел до исступления. Я поклялся или добиться своего, или расшибить себе голову об эту стенку.

Первый день кончился безрезультатно. Ночью я приставил щит к стене, вскарабкался под потолок и прикурил-таки от лампочки. Однако это не могло успокоить, это только дразнило меня кажущейся достижимостью, и с утра штурм возобновился. Так прошли еще один день, еще одна ночь, новый день и новая ночь. Я совершенно перестал существовать. Во мне осталось только одно желание – залезть на стенку. Ногти полопались и кровоточили, пальцы распухли, к ночи я обыкновенно изматывался настолько, что уже и по щиту не мог залезть с первого раза. Я срывался, падал, вставал и снова лез к лампочке, как лезут на свет насекомые. Я уже ничего не чувствовал – ни боли, ни холода, ни голода, – было только одно желание, существовавшее вне меня и помимо меня: залезть на ту проклятую стенку к этой чертовой лампочке. Я даже не понимал уже, зачем мне это нужно, и поэтому, когда на четвертый день, ценой невероятных усилий, взмахов, толчков и прыжков, я оказался вдруг под потолком, вцепившись мертвой хваткой в решетку ниши, я обнаружил, что щепка с клочком тряпки на конце давно выпала у меня из зубов и валялась на полу. Так и висел я, вцепившись в эту проклятую решетку, в десяти сантиметрах от лампочки и плакал.

Конечно же, я не мог вспомнить, какая именно комбинация движений подбросила меня на эту лампочку. Главное – цель была достижима. Для меня, с моим ростом, силами и способностями к альпинизму, это было достижимо. А потому еще два дня ушло на штурм. Да, к концу пятого дня я добился победы, полной и окончательной победы. И не было в моей жизни большего достижения, большей победы, которой мог бы я гордиться так, как этой. Каждый день потом, по три раза на день, карабкался я на эту стенку, чтобы прикурить маленький чинарик махорки. И стало это уже настолько обычным делом, что даже не могло нарушить монотонности моей жизни – обычного медленного погружения в мучительное, однообразно повторяющееся ничто.

Зная все это, старался я протаскать в карцер кусочек карандашного грифеля, обычно спрятав его за щеку. И если мне это удавалось, то потом весь свой карцерный срок – на клочках газеты или прямо на полу, на стене – рисовал я замки. Не просто рисовал их общий вид, а ставил себе задачу: построить замок целиком, от фундамента, полов, стен, лесенок и потайных ходов до остроконечных крыш и башенок. Я обтачивал каждый камень, я настилал паркетные полы или мостил их каменными плитами, я обставлял залы мебелью, вешал гобелены и картины, зажигал свечи в шандалах и коптящие смоляные факелы в бесконечных переходах. Я накрывал столы и приглашал гостей, я слушал с ними музыку, пил вино из кубков, выкуривал потом трубку за чашкой кофе. Мы поднимались по лестницам, проходили из зала в зал, смотрели на озеро с открытой террасы, заходили на конюшню и смотрели лошадей, шли в сад, который тоже предстояло разбить и насадить всякие растения. Мы возвращались в библиотеку по наружной лестнице, и там, затопив камин, я усаживался в мягкое кресло. Я листал старые книги в истертых кожаных переплетах с тяжелыми медными застежками. Я даже знал, что написано в этих книгах. Я мог читать их.

Этого вот занятия хватало мне на весь карцерный срок, и еще много вопросов оставались нерешенными до следующего раза – ведь иногда несколько дней уходило на обсуждение вопроса: какую картину повесить в гостиной, какие шкафы должны быть в библиотеке, какой стол поставить в обеденной зале? Я и сейчас с закрытыми глазами могу нарисовать его, этот замок, со всеми подробностями. Когда-нибудь я найду его... или построю.

Да, когда-нибудь я приглашу своих друзей, и мы пройдем вместе по подъемному мосту через ров, войдем в эти залы, сядем за столы. Будут гореть свечи и звучать музыка, а солнце будет тихо садиться за озером. Я прожил в этом замке сотни лет и каждый камень обточил своими руками. Я строил его, сидя под следствием во Владимире. Он спас меня от безразличия – от глухой тоски безразличия к живому. Он спас мне жизнь. Потому что ты не можешь онеметь, не имеешь права быть безразличным. Потому что именно в такой момент тебя про-

буют на зуб. Это ведь только в спорте судьи и противники дают тебе обрести лучшую форму – грош цена этим рекордам. На самом деле самое большое испытание норовят навязать, когда ты болен, когда ты устал, когда особенно нужна передышка. Тут-то берут тебя и хрясь об колено! Именно в такой момент тебя, ошалелого, вытаскивает из подвала кум, ловец душ человеческих, или воспитатель на беседу.

О нет, они не станут прямо так, в лоб, предлагать сотрудничество. Им нужно пока гораздо меньше – каких-то мелких уступок. Просто приучить тебя к уступкам, к мысли, что надо идти на компромиссы. Они аккуратно щупают, созрел ты или нет. Нет? – Ну что ж, иди в свой подвал, дозревай, у них впереди столетия.

Глупые люди! Они не знали, что я возвращаюсь к своим друзьям, к нашим прерванным беседам у камина. Откуда им было знать, что я разговаривал с ними, стоя на стене замка, сверху вниз, озабоченный больше проблемой благоустройства конюшен, чем их глупыми вопросами? Что они могут сделать против толстых каменных стен, против зубчатых башен и бойниц? И я, посмеявшись над ними, возвращался к своим гостям, плотно прикрывая за собой массивные дубовые двери.

Именно в такой момент, когда все безразлично, когда сознание онемело и только с тоской отсчитывает дни, в соседнем карцере кому-то становится плохо, кто-то теряет сознание и падает. И нужно колотить в дверь, скандалить и звать врача. За этот стук и скандал разъяренный гражданин начальник непременно продлит тебе карцерный срок. Поэтому молчи, уткнись головой в колени, скажи себе, что ты спал и ничего не слышал. Какое тебе дело? Ты его не знаешь, он тебя не знает, вы никогда не встретитесь. Ты ведь действительно мог не услышать. Но может ли себе это позволить обитатель замка?

Я откладываю книгу в сторону, беру свечу и иду к воротам, чтобы впустить в замок путника, которого застигла непогода. Какое мне дело, кто он? Даже если это разбойник, он должен обогреться у очага и переночевать под крышей. И пусть беснуется буря за воротами замка – ей не сорвать крыши, не пробить толстых стен, не задуть моего камина. Что она может, буря? Разве что выть и рыдать мне в трубу.

Тюрьма как общественный институт известна человеку с незапамятных времен, и смело можно сказать, что как только возникло само общество, так сразу же возникла и тюрьма. Видимо, с того же времени процветает литературный жанр тюремных воспоминаний, дневников, записей и заметок. Дело здесь не в том, что недавние обитатели тюрем – люди словоохотливые. Совсем напротив. Освободившийся из тюрьмы человек склонен скорее избегать общества или разговоров и больше всего любит тихо сидеть где-нибудь в одиночестве, неподвижно уставясь в одну точку. Но уж больно теребят его окружающие, задают кучу, как правило, самых нелепых вопросов, требуют все новых рассказов, и чувствует человек, что не будет ему житья, пока не напишет он тюремных воспоминаний. За всю нашу историю по меньшей мере десятки миллионов людей побывали в тюрьме, и тысячи из них изложили на бумаге свои впечатления. Однако это не утолило жажды человечества, того вечного жгучего интереса, который неизменно возбуждает к себе тюрьма. Потому что с древнейших времен привык человек считать, что всего страшнее на свете – смерть, безумие и тюрьма. А страшное притягивает, манит, страх – всегда неизвестность. Ну в самом деле, вернись сейчас кто-нибудь с того света – то его вопросами замучают!

Три события, приходящие независимо от нашего желания, по воле рока, как бы взаимосвязаны. Если безумие – это духовная смерть, духовная тюрьма, то и тюрьма – подобие смерти, а чаще всего и приводит человека к смерти или безумию. Человека, попавшего в тюрьму, и оплакивают, как покойника, и вспоминают, как усопшего, – все реже и реже с течением времени, точно он и вправду не существует. Эти вот три страха, живущие в человеке, исполь-

зуются обществом для наказания непокорных. Точнее сказать, для устрашения остальных – ибо кто ж теперь всерьез говорит о наказании?

Понятно, что каждый член общества живо интересуется, чем же его пугают и что же с ним в самом деле могут сделать. И так это устрашающее назначение тюрьмы прочно засело в сознании людей, что все – от законодателя до надзирателя – считают само собой разумеющимся: в тюрьме должно быть скверно и тяжело. Ни дна тебе, ни крыши быть не должно. Ни воздуха, ни света, ни тепла, ни пищи – это ж не курорт, не дом родной! Иначе вас и на волю не выгонишь, уходить не захотите! Особенно же возмущается общество, когда заключенный начинает заикаться о каких-то там своих правах или о человеческом достоинстве. Ну, представьте себе в самом деле, если грешники в аду начнут права качать – на что это будет похоже?

При этом как-то само собой забылось, что первоначально предполагалось не заключенных пугать, а тех, кто еще на воле остался, то есть само общество. И стало быть, это общество само себя теперь тем больше пугает, чем больше терзает заключенного. Они, следовательно, жаждут этого страха. Конечно, и тюремное население, как всякое порядочное общество, имеет свою внутреннюю тюрьму, называемую карцером, а кроме того – различные режимы содержания; менее строгие, более строгие, особо строгие. Поскольку даже в тюрьме человеку должно быть не безразлично, что же с ним станет. Всегда должно быть что-то, что можно еще у него отнять и чего он терять не хочет. Потому что человек, которому терять нечего, смертельно опасен для общества и является величайшим соблазном для всех честных людей – если, конечно, он не труп. И чтобы не завидно было остальному человечеству, чтобы не соблазнились праведные души, все эти режимы и внутренние наказания рассчитаны таким образом, что последняя их стадия, когда человеку действительно терять нечего, подводит как можно ближе к состоянию естественной смерти. Потому-то знающий зэк не судит о тюрьме по фасаду или по общей камере – он судит по карцеру. Так и о стране вернее судить по тюрьмам, чем по достижениям.

Веками внутреннее устройство тюрем было примерно одинаково, и постороннему человеку, который придет на экскурсию, скажем, в Петропавловскую крепость, никак не понять, что же в ней особенного, в этой тюрьме. Койка как койка, стены как стены. Ну решетки на окнах. Так ведь на то же и тюрьма, чтобы не убежать. И книжки читать разрешали – чего ж еще желать. И уж совсем не понять постороннему человеку, что такое режим.

Какая, собственно, разница – час у тебя прогулки или полчаса, 450 граммов хлеба дают на день или 400, 75 граммов рыбы или 60? Это надо быть бухгалтером или поваром, чтобы подсчитать такое обилие цифр. Постороннему человеку одно только и интересно: умирали заключенные от всего этого или не умирали? Ах, не умирали – ну, так не о чем и говорить! Обычно самое сильное впечатление производят на посторонних сводчатые потолки и толстые стены. Мрачно, страшно! Вот она какая, тюрьма-то, бррр... И сколько бы тюремных воспоминаний они ни прочли, никогда не понять им всех этих мелочей, всех этих пустяков.

Вот стоит сваренная из металлических стержней кровать. На ней ватный матрац – все вроде бы нормально. Но, оказывается, заключенные, спавшие на таких кроватях, даже голодовку объявляли, требуя, чтобы уменьшили просветы между металлическими стержнями. Странно как-то – стояли кровати лет уже, наверно, двадцать, и никто не заикался насчет просветов. Сдурели, что ли, зэки, есть им не хотелось или куражились? Дотошный архивист, может быть, раскопает в тюремных архивах, что примерно в то же время распорядился начальник тюрьмы отбирать у заключенных старые газеты и журналы. Вполне разумное распоряжение – чтобы, стало быть, не захламляли зэки камеру всякой макулатурой. Похвально. Но никакой связи между этими двумя событиями даже архивист не усмотрит, и только зэк может понять эту связь, если спать на этой кровати он мог, только подложив под матрац кучу журналов и газет. Но вот отобрали их – и моментально кровать обратилась в орудие пытки. За одну ночь матрац весь провисает в дырки, и ты спишь на железной решетке.

Полагается, например, в карцере тумба или иное приспособление для сидения, и всякий карцер имеет такое приспособление – некий выступ из стены, сиди себе и сиди целый день. Но вот сделали этот выступ чуточку выше, чем надо бы, и чуточку короче, уже – плотно сесть нельзя, а ноги не достают до пола. Всего-то, казалось бы, сантиметры какие-то, пустяки...

А эти 50 граммов хлеба или 15 граммов рыбы – что за мелочи, право, и говорить даже стыдно. Забывает человек, что даже пушинка сломала когда-то спину верблюду. Забывает, что разница между жизнью и смертью такая ничтожная, такая пустячная: всего-то на пару градусов изменить температуру тела – глядь, а это уже труп. И сколько существует тюрьма, этот общественный институт, столько же продолжается борьба, кипит великая битва между эками и обществом. За граммы, сантиметры, градусы и минуты. Идет она с переменным успехом. То эки напрут, а общество отступит. Там 50 граммов, здесь 5 сантиметров, тут 5 градусов отвоюют эки, и глядишь – жизнь! Но не может общество допустить жизнь в тюрьме. Должно быть в тюрьме страшно, жутко – это же тюрьма, а не курорт. И вот уже напирает общество: там 50 граммов долой, здесь 10 сантиметров, тут 5 градусов, и начинают эки доходить. Возникают сосаловка, мориловка, гнуловка. Начинаются людоедство, помешательство, самоубийства, убийства и побег.

Много лет наблюдал я за этой борьбой, глухой и непонятной для посторонних. Есть у нее свои законы, свои великие даты, победы, битвы и поражения. Свои герои, свои полководцы. Линия фронта в этой войне, как, видимо, и в других войнах, все время движется. Здесь она именуется режимом. Зависит она от готовности эков идти на крайность из-за одного грамма, сантиметра, градуса или минуты. Ибо, как только ослабевают их оборона, тотчас же с победным кличем бросаются вперед эскадроны с красными погонами или с голубыми петлицами. Прорывают фронт, берут в клещи, ударяют с тыла – и горе побежденным! Победителя же никогда не судят.

Новому поколению эков никогда не удастся отвоевать прежних позиций – новое положение они воспримут как нормальное, как исконное, как должное. Они могут десятки раз выиграть свои битвы, но проиграть можно только единожды. Поэтому эки, объявившие голодовку и снявшие ее, ничего не добившись, проиграли не только свою войну, но и многим будущим поколениям ухудшили жизнь. Вот еще почему не можешь ты погрузиться в безразличие, впасть в оцепенение. Оно, это безразличие, будет шептать тебе в ухо: главное – выжить! Думай о сегодняшнем дне, прожил его – и слава Богу. И вот уже гремят копыта, поет труба, идут в атаку эскадроны.

Так-то вот сидел я себе во Владимире и почитывал книжечки. Кроме основного своего предмета – биологии, учил я еще английский. Большинство в наших камерах обычно учит какой-нибудь язык: евреи, как правило, учат иврит, остальные – кто английский, кто немецкий, кто испанский. Методика самая простая: читай как можно больше книг со словарем и выписывай незнакомые слова, а потом все время эти слова повторяй. Обычно для удобства выписывается слово на клочок бумаги: с одной стороны само слово, на обороте – его русское значение. Карточки эти потом удобно перебирать той или другой стороной. А чтобы они не путались и не терялись, вошло у нас в моду клеить из пустых спичечных коробков шкаф. Очень удобный получался шкаф – в пять-шесть рядов, с выдвигаемыми ящичками. Таким вот способом при известном напряжении можно выучить за месяц две, а то и три тысячи слов. Можно их группировать по ящичкам шкафа – по смыслу или по иному признаку. Начальство уже к нашим ящичкам так привыкло, что даже и на шмоне их не отбирали. С книгами же, и в особенности со словарями, было гораздо труднее.

Из дому получать книг не разрешалось, библиотека была бедная, а можно было выписывать книги из магазинов по почте наложенным платежом. Но и то не всякие книги разрешались. В особенности же было запрещено иметь книги, изданные не в СССР, – даже словари,

даже изданные в Праге или в Варшаве. Потому, естественно, все норовили получить книги как-нибудь нелегально.

Мне в этом смысле повезло. Еще сидел я под следствием в Лефортове, а мать моя уже начала передавать каждый месяц по три-четыре книги вместе с передачами. Причем среди советских книг были и не советские, изданные в Англии и в Соединенных Штатах. Лефортовское начальство мне их, конечно, не передавало, а складывало на склад. Надеялись они, что я о том не знаю и при отъезде из тюрьмы не потребую. Таким образом скопилось их на складе штук 30. Отправляли же меня из Лефортова во Владимир ночью, когда крупного начальства в наличии не было. Естественно, я начал скандалить, требовать свои книги и пригрозил заявить этапному конвою, что тюрьма не отдает мне вещи. Этапный же конвой ни тюрьме, ни КГБ не подчиняется, более того – как и все офицеры МВД, с КГБ враждует. Поэтому, рассчитал я, вполне может конвой заартачиться и не взять меня на этап как «имеющего материальные претензии к тюрьме» – так это называется. Того же, видимо, боялись и лефортовские надзиратели. Конечно, дежурный офицер сначала поругался со мной с полчаса для приличия, попытался взять за горло. Но уж знали они меня достаточно, сидел я у них третий раз, – понимали, что не уймусь, и книги отдали. Так и привез я во Владимир целый мешок книг – еле дотащил.

С этим мешком книг имел я потом постоянную мороку: то их у меня отнимали – для проверки, а потом не отдавали, то, наоборот, заявляли, что проверять их некому, а потому отдать нельзя; то вводили лимит – 5 книг на руки, остальные опять же отбирали. И каждый раз приходилось мне из-за них то жалобы писать, то голодовки объявлять. Один раз в лагере я их даже украл со склада, подменив другими. Словом, целая эпопея. Любопытно, однако, – никто их ни разу не просматривал, никто даже не знал, что они не советские, иначе мне никакие голодовки не помогли бы. Просто раздражал мой мешок начальников. «У нас здесь не университет, учиться будете после освобождения». Вот и все.

Так или иначе, а каждый из нас имел свой мешок с книгами, причем, как правило, книги эти передавались по наследству – от одного поколения зэков к другому – и являлись как бы общественным достоянием. А потому шла у нас с начальством непрерывная книжная война – как, впрочем, и по другим вопросам режима война не прекращалась. Книги приходилось прятать, чтобы не попадали они начальнику на глаза, особенно же на случай шмона. Задача эта далеко не простая – книга же не иголка, куда ее спрятать? В камере как ни трудно, а все-таки еще можно извернуться. Но хуже нельзя было придумать, если вдруг открывалась кормушка и корпусной говорил: «Соберитесь с вещами». Это могло означать все что угодно: перевод в другую камеру, перевод на другой корпус, в карцер, на этап. И во всех случаях предстоял персональный шмон. Куда ж их девать, эти чертовы книги?

Помогало очень, если оторвать у книги корешок, титульный лист, а то и предисловие. И тогда можно было спорить, что это не книга вовсе, а бумага для туалетных надобностей. Так можно было одну-две книги значить. Еще навострились ребята подделывать библиотечный штамп: дескать, это не моя книга, а библиотечная. Но и это разоблачили со временем. Если с книжки ободрать корешок, а на его место аккуратно приклеить обложку от толстого журнала, то можно было выдавать ее за журнал – «Октябрь» или «Новый мир», например. Но вскоре стали отбирать и журналы. Самое же верное было побыстрее читать и как можно больше переписывать в тетрадь. Такие конспекты считались уже законной собственностью зэка и тоже переходили по наследству. Но их часто забирал на проверку КГБ, чтобы выяснить, не пишем ли мы антисоветских романов или тюремных дневников. Словом, шла Столетняя книжная война.

Начальство наше очень скоро сообразило, что мы, в отличие от уголовников, гораздо острее переживаем потерю книг, свиданий или переписки с родственниками, чем лишение продуктов питания, строгий режим или пониженный рацион, и потому нажимало на всякие духовные лишения. Хотя, конечно, ударить по желудку, как говорят уголовники, всегда оставалось излюбленным средством воспитателей, им они тоже не пренебрегали. У нас же было

свое оружие: жалобы, голодовки, упорство и изобретательность. Но главное, без чего никакая изобретательность не спасла бы нас, – это сплоченность и гласность.

Поразительное явление: всего каких-нибудь тридцать лет назад десятки миллионов политических заключенных гнали на великие стройки коммунизма, сотни тысяч их гибли от цинги и дистрофии. А весь мир в это время, захлебываясь от восторга, восхвалял прогрессивный советский режим. Не то чтобы не хватало им информации, а просто не желали знать, не хотели верить. Хочется людям иметь красивую мечту о счастье и справедливости где-нибудь на земле. И даже самые серьезные западные наблюдатели изумлялись грандиозности советских достижений, размаху строительства, энтузиазму советских людей, о зэках же – ни слова.

Теперь же по стране сидело нас, политических, никак не больше двух десятков тысяч, примерно столько, сколько в одном Норильске умирало раньше зэков за зиму. Но уже почувяли на Западе, что и их судьба, их собственное будущее решается отчасти во Владимирской тюрьме. Стала западная печать уделять нам некоторое внимание, даже вникать в нашу режимную войну, во все эти граммы, градусы, сантиметры. Заинтересовалось вдруг человечество – может ли быть тюрьма с человеческим лицом? Нам это оказалось весьма кстати – тюрьма-то у нас давно была, а вот человеческого лица сильно не хватало. А потому не успевала иногда закончиться наша очередная голодовка, как надзиратели тайком сообщали нам подробности передач Би-Би-Си или радио «Свобода» об этой самой голодовке – даже их увлекла эта радиовойна.

Забеспокоились и кремлевские вожди – очень их стало заботить, что тускнеет фасад великого здания. Ах, это всегда так некстати! Вот в тот самый момент, когда пролетарии всех стран готовы были наконец соединиться и воплотить вековую мечту человечества, в тот самый миг, когда все усилия народов надо направить на борьбу с диктатурой в Чили или с апартеидом в Южной Африке, – вдруг выплывают какие-то зэки, какие-то голодовки, пайки, граммы и градусы. Это отвлекает трудящихся, помогает мировому империализму, отдаляет светлое будущее.

А с другой стороны, менялось настроение и самой государственной машины: не было больше того революционного пыла и рвения – расстрелял его Сталин в 30–40-е годы. Все больше деревенел аппарат, захватывали его чиновничья апатия, боязнь ответственности, боязнь начальства, добротное бюрократическое равнодушие. Обросли законами, инструкциями, постановлениями, и не всегда понятно было, как их толковать. Лучше всего, конечно, доложить «наверх» и ждать распоряжений. «Сверху» же распоряжаться не спешили. «Сверху» любили в основном наказывать чиновников за нерадивость, спускали все новые инструкции, постановления, которые опять надо было истолковывать как-то, примирять их вечные противоречия. И пухла голова у начальника тюрьмы.

Ему и понятно, что всякая инструкция должна быть использована против зэков, но вот до какой степени? Перегнешь немножечко, поприжмешь их покрепче, и глядишь – голодовка. Опять завоюют из Лондона, Мюнхена, из Вашингтона. А это значит, что недели через три-четыре нагрянет комиссия из Москвы. «Как же так, товарищи? Поддались на провокацию мирового империализма!» Конечно же, найдут какие-нибудь неполадки, недоделки, запишут, укажут, поставят на вид, а то и снимут – у каждого чиновника ведь пропасть врагов, так и норуют подсидеть, занять место, вырвать кусок из глотки. Поэтому офицеры и начальники тюрьмы тоже слушают западные радиостанции, крутят по ночам приемники, спрашивают друг друга наутро: было вчера что-нибудь? Было – значит, жди комиссии. Вздыхают старые тюремщики: распустили вас, двадцать бы лет назад!..

Но и мы уже далеко не те кролики, что умирали молча и безропотно. Мы поняли великую истину, что не винтовка, не танки, не атомная бомба рожают власть, не на них власть держится. Власть – это покорность, это согласие повиноваться, а потому каждый, отказавшийся повиноваться насилию, уменьшает это насилие ровно на одну двухсотпятидесятиллионную

долю. Мы прошли через участие в правовом движении, прошли хорошую школу в лагерях, мы знаем, какую сокрушительную силу имеет человеческая непокорность. Знают все это и власти. Давно уже отбросили они в своих расчетах всякие коммунистические догмы. Не нужно им больше от людей веры в светлое будущее – им нужна покорность. И когда нас морят голодом по лагерям или гноят по карцерам, добиваются от нас не веры в коммунизм, а покорности или хотя бы компромисса.

Во Владимирскую тюрьму нас собрали по всем лагерям – самых непокорных, самых упрямых: голодовщиков, забастовщиков и жалобщиков. Здесь почти не было людей случайных, а те немногие случайные люди, которые попадали к нам, поневоле встраивались в нашу линию обороны.

В соседних камерах сидели зэки на особом режиме, по таким же статьям, как и наши. Большинство их, однако, были люди случайные – в основном уголовники, проигравшиеся в карты или еще как провинившиеся перед своими сокамерниками. Чтобы избежать расплаты, эти люди расклеивали в своем лагере листовки или делали себе антисоветскую татуировку – им добавили срок и посадили на этот вот особый режим как «политических рецидивистов». Конечно же, по существу, психологически, они оставались уголовниками. И что удивительно: у них, на особом, режим ничем не отличался от режима сталинских лагерей. То же начальство, те же надзиратели относились к ним совсем иначе, чем к нам: их били, унижали, они дрались между собой за пайку хлеба, они предавали друг друга – какая уж там оборона!

До 1975 года нас, политических, на работу не гоняли: тюремное начальство считало это нецелесообразным. Знали они по прошлым годам, что большинство на работу не пойдет, а кто и пойдет, все равно норму делать не будет. Невыгодно было это тюрьме – держать рабочее помещение, вольнонаемных мастеров и добавочный план на нас, не получая реальной выработки. Весной же 75-го – в ожидании Хельсинки, что ли, – Москва распорядилась иначе: приказано было заставить нас работать.

Принудительный труд и вообще-то унизителен для человека. В условиях же тюремной системы, где 60 процентов заработка вычитается тюрьмой на нужды охраны, а из оставшейся суммы вычитается стоимость твоего питания, одежды и содержания, где работа – это средство твоего перевоспитания, где отнимает она 8 часов в день при шестидневной рабочей неделе, притом нормы выработки искусственно завышаются, чтобы сделать труд непосильным, – в таких условиях труд неприемлем для уважающего себя человека.

Естественно, мы отказались. И началась долгая осада. Всех нас – как злостных отказчиков – по несколько раз протащили через всевозможные виды наказания: только на строгом режиме я за это время просидел полтора года (это из неполных двух). Другим больше досталось карцеров, кое-кто просидел там по 60 и даже 75 суток. Нам пресекли переписку с родными, лишили свиданий, продуктов. Война шла безжалостная, на износ. Каждый понимал, что проиграть нельзя. Поэтому, кроме обычных методов обороны – голодовок и нелегальной передачи информации на волю о беззакониях в тюрьме, – мы применили и несколько неожиданный метод: завалили официальные инстанции буквально лавиной жалоб.

Нужно знать советскую бюрократическую систему, чтобы понять, какой это давало эффект. По существующим в СССР законам каждый заключенный имеет право подавать жалобы в любые государственные или общественные учреждения и должностным лицам. Жалоба должна быть отправлена тюрьмой в трехдневный срок с момента ее подачи. За это время начальство должно написать сопровождающее ее пояснение от себя, а также выписку из личного дела жалующегося и все это вложить в тот же конверт, что и жалобу. Инстанция, которая жалобу получает, регистрирует ее в журнале своих входящих бумаг и обязана в течение месяца дать на нее ответ. Если инстанция не компетентна решать затронутый в жалобе вопрос, она пересылает ее в компетентные инстанции. На повторную жалобу заводится отдельное производство. Существует несколько законов и инструкций, регулирующих порядок рас-

смотрения жалоб. На практике, если вы написали одну жалобу, это никогда не дает эффекта: ее перешлют «компетентному лицу», то есть именно тому, на кого вы жалуетесь. А он, естественно, найдет жалобу необоснованной. Чаще всего жалоб просто никто не читает, а сразу пересылают их вниз, по инстанции. Такая практика породила в людях неверие в силу жалоб. Ворон ворону глаз не выклюет – говорят ээки.

Однако при соблюдении известных правил жалобы весьма эффективны даже в тюрьме. Нужно только:

- знать законы и порядок рассмотрения жалоб;
- досконально знать все законы и инструкции о тюремном режиме;
- жалобу составлять предельно кратко, четко, лучше всего на одной странице, иначе ее никто читать не станет. В жалобе должен быть указан только факт нарушения закона или инструкции, дата этого события, фамилии виновных и указание на закон или инструкцию, которые при этом были нарушены;
- писать нужно крупными буквами и разборчивым почерком, оставляя сбоку поля;
- если ты хочешь, чтобы жалобу рассматривала высокая инстанция, жалуйся на начальника предыдущей: то есть, если тебе надо, чтобы отвечало главное управление МВД, жалуйся не на начальника тюрьмы, а на начальника областного управления. Для этого нужно медленно подниматься по ступенькам чиновничьей лестницы, жалуйся каждый раз выше на ответ предыдущей инстанции;
- никогда не жалуйся по двум различным вопросам в одной и той же жалобе;
- отправлять жалобу надо заказным письмом с уведомлением;
- самое главное условие: жалобы надо писать в огромных количествах и в самые некомпетентные инстанции.

В разгар нашей войны мы писали каждый от десяти до тридцати жалоб ежедневно. Сочинить тридцать жалоб в один день трудно, поэтому обычно мы распределяли между собой темы, и каждый писал на свою тему, а потом давал остальным переписать. Если у вас в камере 5 человек и каждый берет себе по 6 тем, то в результате обмена каждый напишет по 30 жалоб, а сочинять придется только по шесть. Переписывать же 30 страничек готового текста, да еще крупным почерком – это примерно полтора-два часа работы.

Адресовать жалобы лучше всего не чиновникам, а самым неожиданным людям и организациям: например, всем депутатам Верховного Совета, республиканского или областного, городского Совета, всем газетам и журналам, всем космонавтам, всем писателям, художникам, артистам, балеринам, всем секретарям ЦК, генералам, адмиралам, передовикам производства, чабанам, оленеводам, дояркам, спортсменам и так далее, и тому подобное. В Советском Союзе все мало-мальски известные люди являются должностными лицами.

Далее происходит следующее: тюремная канцелярия оказывается завалена жалобами и не успевает отправлять их в трехдневный срок, так как им нужно составлять вышеупомянутые сопроводительные записки к каждой жалобе. За нарушение срока отправки они непременно получают выговор и лишаются премиальных. В самые жаркие дни нашей войны по приказу начальника тюрьмы в помощь канцелярии привлекались все: библиотекари, вольнонаемные бухгалтеры, цензоры, офицеры политчасти, оперативники. Более того – рядом с тюрьмой находилось училище МВД, так курсантов пригоняли помогать канцелярии.

Все ответы и отправки нужно регистрировать в специальную тетрадь и строго следить за соблюдением сроков ответа и отправки. Все эти жалобы проходят сложный путь и во всех инстанциях регистрируются, на них заводятся папки и делопроизводство. В конечном итоге они все обрушиваются в две инстанции: в местную прокуратуру и местное управление МВД. Эти инстанции тоже не успевают отвечать, тоже нарушают сроки, за что тоже получают выговоры и лишаются премий. Бюрократическая машина работает на всех парах, а вы переносите бумажный вал с инстанции на инстанцию, сея панику в рядах противника. Чиновники

есть чиновники, они вечно враждуют друг с другом, и очень часто ваши жалобы становятся оружием в их руках для междоусобной или межведомственной войны. Так продолжается несколько месяцев. Наконец в дело вступает самый мощный фактор советской жизни – статистика.

В какую-то высокую инстанцию докладывают среди прочих цифр и сводок, рапортов и сообщений о ходе строительства коммунизма, что вот на Владимирскую тюрьму, а то и на всю область поступило – за отчетный период – 75 тысяч жалоб. Никто этих жалоб не читал, но цифра неслыханная. Она сразу портит всю отчетную статистику, какие-то показатели в социалистических соревнованиях каких-то коллективов, управлений или даже областей. Всем плохо: вся область из передовых переходит в отстающие, у нее отбирают какие-то там переходящие красные флаги, вымпелы и кубки. Трудящиеся негодуют, в обкоме паника, а в вашу тюрьму срочно снаряжается высокая комиссия.

Эта комиссия не поможет вам лично, разве что разрешит несколько мелких вопросов в ваших жалобах. Но она обязательно должна найти массу недостатков и упущений в работе начальства. За этим ее и посылали, платили ей командировочные, суточные и премиальные. Начальство получает разгон. Кого-то снимают, кого-то понижают в должности, кто-то получает выговор, комиссия рапортует вверх о принятых мерах и удовлетворенно уезжает домой. Далее, поскольку вы посылали жалобы всяким дояркам, депутатам, балеринам и оленеводам, то им всем тоже надо отвечать, разъяснять и успокаивать, сообщать о решении комиссии и о принятых мерах.

А вы все пишете и пишете дальше, портите статистику за новый отчетный период и выбиваете новую комиссию, и так – годами. Прибавьте сюда комиссии и выговоры, которые возникают в результате утечки информации за рубеж, директивы, циркуляры, контрприказы, жалобы родственников, кампании и петиции за границей – и вы поймете, что выдержало наше начальство, воюя с нами за выход на работу. Какой начальник тюрьмы, какой прокурор, какой секретарь обкома КПСС захочет такой жизни? И если бы это зависело только от них, мы давно бы прорвали блокаду. Но был приказ Москвы.

Бог мой, чего только они не делали с нашими жалобами: их конфисковывали мешками, их крали, не давали нам бумаги, не продавали конвертов и марок, запрещали отправлять заказными с уведомлением (чтобы удобнее было красть), издали специальный приказ и запретили писать жалобы куда бы то ни было, кроме прокуратуры и МВД, сажали за жалобы в карцер. А ответы – какие мы получали ответы! Это же фантастика! Ошалевшие чиновники, не успевавшие даже прочитать наши жалобы, отвечали невпопад, путали адресатов, путали жалобы. Они так перекорезили и переврали несчастные законы, что их самих можно было сажать в тюрьму. Например, полковник МВД из местного управления отвечал мне, обалдев от бумажной бури, что съезд КПСС не является общественной организацией и поэтому, дескать, нельзя обращаться к нему с жалобами. Конечно же, последовал шквал жалоб на полковника, и он исчез в этом водовороте.

А владимирские суды, совершенно осатанев от груды исков и требований уголовного преследования наших начальников, отвечали нам, например, что офицеры МВД неподсудны советским судам. Наконец, на все махнув рукой, нам вместо ответов стали присылать расписки примерно такого содержания: «За истекший месяц получены и отклонены 187 ваших жалоб» – и подпись. Вся бюрократическая система Советского Союза оказалась втянута в эту войну. Не было такого ведомства или учреждения, области или республики, откуда бы мы не получили ответа. Бывало, что две инстанции давали диаметрально противоположный ответ, и тогда мы их стравливали. Под конец мы втянули в эту игру даже уголовников, и жалобная зараза стала распознаться по тюрьме – всего же в тюрьме было 1200 человек.

Я думаю, если дело протянулось бы несколько дольше и вся тюрьма включилась бы в эту работу, то советская бюрократическая машина просто вышла бы из строя: все учре-

ждения Советского Союза прекратили бы свою работу и писали бы нам ответы. Но они сдались. Осада была снята после двух лет борьбы. Нашего начальника тюрьмы сняли и отправили на пенсию, произвели кое-какие перемещения в администрации, и все затихло. Москва отступилась от своего приказа. Бедный наш полковник Завьялкин! Он пострадал ни за что, пал жертвой административной несправедливости. В сущности, он не был злым человеком, он был просто исполнительным чиновником. Он плохо понимал, что происходит, а от бесчисленных комиссий и противоречивых указаний, сыпавшихся ему на голову, он защищался весьма своеобразно – прикидывался дурачком, таким исполнительным дурачком, который все хочет как лучше, да вот беда – выходит наоборот! Его распекали, его бранили, ставили на вид – он все принимал с видом безвинного, но невезучего человека.

Победа досталась нам нелегко. Поддошли, отощали ребята, у каждого открылась какая-нибудь болезнь: у того – язва, у этого – туберкулез. В тюрьме и здоровому человеку нелегко, а уж больному – совсем труба. Болезнью тебя начинают шантажировать: будешь сговорчивым – подлечим, дадим диетпитание, переведем в больницу. При язве и болезни печени всю эту гнилую кильку и тухлую квашеную капусту совсем не вмоготу есть, а это 60 процентов твоей пищи, куда деваться? Если у тебя туберкулез или, скажем, голодные боли при язве, очень любят начальники сажать в карцер. Да еще в голодный день, когда пищи не полагается, норвят тебя вызвать на беседу. Туберкулезникам, по крайней мере, легче – они хоть боли не чувствуют.

Собственно, лечить здесь никого не лечат. Могут слегка смягчить остроту болезни, залечить поверхностно, не допустить смерти. В результате, как правило, у всех болезни приобретают хроническую форму, и потом уже от них не избавишься – всю жизнь на лекарства зарабатывай. Это считается вполне нормальным. «Вы что, лечиться сюда приехали? Мы вас в тюрьму не звали, не надо было попадать», – говорят врачи. Да и больница, собственно говоря, ничем не отличается от обычной камеры: такие же бетонные полы, такие же жалюзи на окнах; ни света, ни воздуха, только что кормят получше. Даже унитаза нет – на оправку водят два раза в день. Не захочешь такой больницы.

Вообще медпомощь здесь рассматривается как награда за хорошее поведение. В соседней камере у уголовников сидит эпилептик. Каждый день эки стучат в дверь, требуют врача. Какой там врач! Часа через четыре, может быть, заглянет в кормушку фельдшер: «Что, эпилептик? Не умрет, больше не зовите», – и захлопнет кормушку. Когда у нас в камере стало плохо Гуннару Роде, мы полночи ломались в дверь, орал в окно, вырвали из пола скамейку и ею с разбегу били в дверь, как тараном, выбили кормушку напрочь, дверь треснула. Еще немного, и дверь бы вылетела. Потом нас всех посадили в карцер, но Роде все-таки забрали в больницу. В другой раз посадили опять в карцер Сусленского, а он сердечник, и как его в карцер посадят, у него дня через три – приступ. Так и в этот раз. Тут уж весь корпус, все камеры, включая уголовников, ломали двери – грохот стоял, как при канонаде. Корпус ходуном ходил. Шутка сказать, 66 камер – около двухсот человек – долбили двери. В результате Сусленского на носилках перенесли в другой карцер, на другой корпус – только и всего.

Так что нелегко нам досталась наша победа – зато для скольких поколений эков отстояли мы право не работать в тюрьме, кто знает? Да и добились многих улучшений. А самое главное, боятся нас теперь начальники как огня! И когда новый начальник тюрьмы попытался было опять прижать нас с книгами – всего только несколько дней и проголодали, а уж начальник сдался. Нас и пальцем тронуть не смеют теперь. Уголовников же что ни вечер кого-нибудь отволокут в туалет и лупят. А то в наручники затянут и месят сапогами. Что ни вечер – крики, стоны. Особенно известен этим майор Киселев. Вечно пьяный, с белесыми, невидящими глазами, он просто больной делается, если за смену кого-нибудь не отметелит. Нас же обходит стороной, даже дышать боится, чтобы не учуяли запах перегара.

Особенно навалились мы на него после того, как в конце 74-го года убили в его смену в карцере уголовника по кличке Дикарь. Никто не знал фамилии этого несчастного Дикаря,

и были мы в затруднении как же писать об этом случае в заявлениях. Так и писали: «уголовник по кличке Дикарь». Долго его били, видно, всю ночь, потому что всю ночь был он в карцере. Несколько раз за эту ночь вызывали мы корпусного, спрашивали, в чем дело. «А кто его знает, – отвечал он, – должно быть, сумасшедший, вот и воет». Наутро сообщили нам уголовники, в чем было дело. С тех пор два года одной из наших постоянных тем в жалобах был этот Дикарь – требовали суда над Киселевым. Одних только жалоб написали тысячи полторы. Суда, конечно, не добились, прокуратура неизменно отвечала: «Причастности администрации к смерти осужденного Гаврилина не установлено». Только так и узнали его фамилию.

Киселев, однако, поутих и уж, во всяком случае, нас боялся. Ненавидел он нас при этом люто и всегда норовил составить на нас рапорт, чтоб наказали. Вся смена у него была такая же, как он, словно на подбор, – один Сорок Первый чего стоил! Маленький такой корпусной, старшина Сарафанов, постоянно дежурил на первом корпусе в смене Киселева. Кличку свою он получил от эков много лет назад за то, что за одну смену как-то написал 41 рапорт. Как он ухитрился успеть – уму непостижимо, тем более что был он полуграмотный. Исключительно ехидная скотина! Этот, да еще корпусной по кличке Цыган, тоже из смены Киселева, больше всего доставляли нам забот и открыто нас ненавидели. Цыган был, правда, откровеннее, прямее. Кричал нам, не стесняясь: «Жаль, Гитлер не всех вас в печках сжег!» – он считал, что мы все евреи. Ну, уж и мы им спуска не давали.

Остальные надзиратели, особенно помоложе, относились к нам неплохо, иногда с открытым сочувствием. Так же, как и мы, ненавидели они капитана КГБ Обрубова, приставленного к нам в качестве оперуполномоченного по тюрьме. Как и уголовники, надзиратели называли его Адмиралом Канарисом. Внешне Обрубов действительно чем-то походил на Канариса, но, думаю, был во много раз глупее. Подсылал он к нам постоянно баландеров, шнырей и прочих уголовников из хозобслуги, чтобы те взяли у нас какую-нибудь записочку на волю или письмо. За это приносил им тайком запретный в тюрьме чай. Хозобслуга, естественно, все это рассказывала нам, считая такой путь наиболее простым, и просила нас сочинять для них туфтовые записочки. Нам это тоже было выгодно, так как взамен хозобслуга соглашалась передавать нашим в карцер махорку, а иногда и хлеб. Поэтому мы регулярно снабжали Обрубова туфтовыми посланиями на волю, а то и петициями в ООН, которые он представлял выше как доказательство своей полезности. Заработанный таким образом чай баландеры продавали в камеры блатным, так что все были довольны.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.